
Ева Маэлль
EASTHALL
FEDERAL
HOSPITAL
Горизонты
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Ева Маэлль

Горизонты

«Автор»
2026

Маэлль Е.

Горизонты / Е. Маэлль — «Автор», 2026

Тишина — самый громкий звук на земле. Громче крика. Громче ссоры. Громче слов, которые не вернуть. Потому что крик заканчивается. А тишина — нет.В ней всё то, что они не сказали. Присутствие, которое рождается острым болезненным отсутствием. Любовь, которую не произносят, а проживают.Она уехала, чтобы эта тишина стала тише. Нашла того, кто говорил. И каждое утро всё равно слышала одно и то же — его молчание. Через океан. Через годы. Через всё, что между ними встало и не смогло разорвать.«Горизонты» — третья книга серии «Коридоры».О тех, кто слышит молчание и не может его заглушить.О тех, кто не дождался.О тех, кто ты.

© Маэлль Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Посвящение 6
Пролог 7
Глава 1 9
Глава 2 15
Глава 3 22
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Горизонты

Посвящение

Я посвящаю эту книгу тем, кто стоял у закрытых дверей так долго, что разучился стучаться. Тем, кто вовремя не увидел своей любви. Или увидел, но не узнал её в лицо, потому что она пришла не так, как обещали. Не в пышном, не в парадном. Не под оглушительные аккорды. А тихо. Почти незаметно. И ушла, не попрощавшись.

Тем, кому бывает пусто, даже когда вокруг шум. Потому что тишина внутри громче любого смеха.

Эта книга — тебе. Тебе, кто улыбался, когда хотелось кричать. Кто любил и говорил на языке, который никто не понял. Стоял в центре своей жизни и вдруг осознал, что потерял себя. Не в толпе, а в собственных решениях. В собственных страхах. В собственных «потом».

Помни: иногда счастье — это не гром. Не чудо. Не награда. Иногда оно — это умение заметить и не отвернуться. Сказать себе:«Я вижу тебя», даже если голос дрожит и в ответ — только эхо.

С любовью и верой, что горизонты всегда ждут, даже когда их не видно.

Пролог

Привет. Я Мия. Мия Блэйн. Не знаю, кто ты. Не знаю, где ты сейчас. Кутаешься дома в плед, или спускаешься в метро, уворачиваясь от чужих плеч. Может, у тебя сейчас утро, когда город только просыпается, или ночь, когда он уже спит. Не знаю, что у тебя внутри. Что болит, что уже перестало, чего ты ждёшь от этих страниц.

Знаешь, что самое страшное в конце пути, который так долго строил? Не темнота. Не пустота. Не сомнения — а когда ты смотришь в зеркало и понимаешь: ты не знаешь эту женщину. Не помнишь, когда она появилась, куда делась та, прежняя, которая верила, что всё будет хорошо. Которая умела смеяться без причины и засыпать без мыслей, разъедающих изнутри.

На самом деле она ещё здесь. Где-то глубоко. Под слоями чужих ожиданий, под шрамами и словами, которые она так и не сказала. Но добраться до неё — всё равно что раскопать город, засыпанный пеплом. Долго. Больно. И никто не знает, что найдёшь в итоге.

***

Истхолл начал встречать меня запахом недосказанности. Я чувствовала его сразу, едва переступив порог. Он пропитывал стены, застревал в шторах, оседал на коже. Запах молчания и несбывшихся надежд. Но мне больше некуда было идти.

Звучит жалко? Возможно. Но это правда. Иногда ты выбираешь не из хороших вариантов, а из тех, которые просто есть. Госпиталь стал моим «просто есть». Местом, где можно спрятаться от мира, сделав вид, что ты здесь не для этого. Что у тебя есть цель, ты что-то ищешь.

Я искала.

Себя. Смысл. Любовь. То, что, как мне казалось, должно было ждать меня за следующим поворотом. Я верила, что если я кого-то полюблю — по-настоящему, до дна, до темноты, — то эта любовь станет моим спасением, чужая боль окажется понятнее своей, а чьё-то сердце забьётся вместо моего.

Так и случилось.

Я встретила того, в ком узнала собственное отражение. Вернее, даже не встретила — просто однажды поняла, что всё это время смотрела на него, не отводя глаз. Он был как край обрыва: страшно, но шаг вперёд уже наполовину сделан. Молчание Энди звучало громче любых слов. Его боль отзывалась во мне эхом, как будто мы носили одну рану на двоих. Я смотрела на него и видела себя. Ту, которую не показывала никому. Мию, которая по ночам смотрела в потолок и мечтала, чтобы кто-нибудь просто обнял. Без слов. Без вопросов. Без «ты как?»

Я верила, что если я буду рядом с ним, если выдержу и не сломаюсь под тяжестью его тьмы, — я спасу нас обоих. Что любовь — это мост и по нему можно уйти от самой себя.

Оказалось, что это не мост, а зеркало. Ты смотришь в него — и видишь всё то, от чего бежал, что прятал. Всё то, что надеялся забыть. И никуда не уйти, потому что зеркало всегда с тобой.

Кори. Почему я оставляю его?

Тайна, которую он так и не узнал, стала стеной. Она растёт между нами каждый день. Моя ложь. Моя тишина. Его ребёнок. Я молчала и носила это в себе так долго, что несказанное стало частью меня, въелось в мою кожу, руки, волосы, стало давить на плечи, которые он обнимает. Я не могу смотреть на него, не чувствуя вины и страха открыться. Обманываю его молчанием.

Несвоевременность...Я не призналась тогда, а сейчас это больше ненужно. Мой угасающий свет погасит его зарево. Ухожу, чтобы этого никогда не произошло. Уезжаю, чтобы защитить.

Выхожу из стен Истхолла ночью. Без громких сцен. В немом отупении. Короткий разговор — и я собираю вещи, накидываю пальто и делаю шаг в темноту, как покидают пустой вокзал, на котором уже больше нечего ждать. Идёт дождь. Мелкий, противный, тот самый, что проникает под кожу и остаётся там навсегда. Я не беру зонт. Не потому что забыла. Пусть небо плачет вместо меня — мои слёзы давно закончились.

Двери за мной тихо захлопываются. Без драмы, но с горьким послевкусием закрытой главы.

И это правильно. Я уезжаю не Истхолла и не от него. А от той Мии, которая боится дышать полной грудью, потому что думает, что задохнётся. Носит маску так долго, что забыла, какое у неё лицо. От той, которая улыбается, когда внутри всё кричит, и говорит «я в порядке», когда порядок только в том, что всё рушится. Мир, в котором я жила, сломался вместе со мной. Тихо. Без лишних свидетелей. Без крика. Я понимаю, что осталась не там, где была, потому что здесь меня уже нет.

Иду. Стоять больше невыносимо, и, может быть, там, за горизонтом — не знаю где, не знаю когда — есть что-то, ради чего стоило пережить всё это.

И если ты сейчас читаешь это — значит, ты тоже сделал свой выбор, каким бы незначительным он не казался. Поверь, этого уже достаточно.

Ты пойдёшь к «Горизонтам» без нашего автора Евы. Потому что горизонт — это линия, которую видно только тогда, когда стоишь один, никто не подсказывает, куда смотреть, и даже тишина не пугает, а держит. Ева не исчезла — просто перестала говорить, ведь ты уже умеешь слышать.

Глава 1

Я знаю это, хотя ещё не произнесла ни слова. Сегодня — последний день. Истина висит в воздухе, густая, как зимний туман за окном, и я чувствую её всей кожей, каждым вдохом, каждым ударом сердца. Я стою в этом кабинете последний раз, смотрю на стены, дышу коридорами. От этого всё вокруг обретает ту особую, болезненную чёткость, какая бывает только перед прощанием, когда каждая деталь впечатывается в память навсегда, хочешь ты того или нет.

Свет из панорамного окна льётся на пол — не яркий, а разбавленный, пепельный, будто разведённый молоком. Он не золотит, не слепит. Он лишь мягко проявляет контуры вещей, которые я так долго считала своими. Стопки папок на краю стола. Кожаное кресло со спинкой, хранящей форму моего тела. Тонкие узоры на ясене, обрамляющие стены переговорной — оголённые, беззащитные, как нерв. Я смотрю на всё это и чувствую, как внутри разливается тишина.

Это не радость. Не печаль. Не облегчение...и не тоска. Беззвучие. Глухое, глубокое, как дно колодца. То, что наступает перед дальней дорогой, когда вещи собраны, письма дописаны, а дверь ещё не закрыта. Ты стоишь в этом зависании между прошлым и будущим, как на мосту, и слышишь только стук собственного сердца. Каждый удар отдаётся в висках, в груди, в кончиках пальцев, которыми я касаюсь стола. Холодное дерево. Уже чужое. Почти чужое.

Я обвожу взглядом кабинет. Медленно. Жадно. Так, как смотрят на лицо умирающего, пытаясь запомнить каждую чёрточку, каждую морщинку и неуловимую тень. Хочу унести это с собой. Не потому что здесь было хорошо или плохо. Здесь была я. Настоящая. Сломанная. Собранная заново по кускам. И эти стены были свидетелями всего — каждого падения и взлёта, каждой ночи, когда я сидела на подоконнике и смотрела в темноту, не зная, хватит ли сил дожить до утра.

Хватило.

Я выжила.

И теперь ухожу.

Истхолл не исчезнет. Он будет стоять здесь, незыблемый и неравнодушный, как всё, что мы создаём, а потом оставляем. Примет другую, как принимал меня. Но этот миг — последний, когда я вхожу в него как хозяйка, как человек, сросшийся с его стенами, воздухом, скорбями и надеждами, — этот миг не повторится никогда. Я хочу запомнить его до самого дна. Каждый шорох. Каждый блик. Каждую пылинку, что медленно кружит в полосе света и оседает на мрамор, как невысказанное слово.

Выхожу в коридор. Шаги отзываются эхом — глухо, размеренно, как удары метронома. Истхолл молчит, но это лишь затишье. В нём живёт всё, что я здесь пережила. Стены помнят. Они свидетели. Они видели, как я входила сюда — испуганная, чужая, сжатая в тугой узел недоверия. Видели, как я плакала, зажимая рот ладонью, чтобы никто не услышал, как училась улыбаться, когда внутри всё было выжжено дотла. Видели, как я падала. Как поднималась. И снова падала. И как в конце концов научилась стоять.

Теперь они провожают меня. Иную. Уставшую, но настоящую. Они сделали меня собой.

Я веду ладонью по поверхности колонны. Прохлада мрамора отзывается покалыванием в коечиках пальцев. Песочный, тёплый, но всё же камень. В нём достоинство и спокойствие, к которым я так долго шла. Смотрю на золотистый клён, мягкий глянец стеклянных стен, за которыми кипит жизнь. Чувствую, как благодарность поднимается из груди — не бурная, не со слезами, а ровная, как свечение. Тихая, как молитва.

Я знаю каждую трещинку на полу. Каждый плафон на потолке. Каждую дверь, за которой замирают сердца и спасаются судьбы. Я прощаюсь не с горечью, а с нежностью. Так прощаются с учителем. С приютом. С первым домом, который не выбирал тебя, но всё равно стал твоим.

Ординаторская встречает меня прежним запахом — кофе, бумаги, антисептик, смешанный с чем-то древесным. Он впитался в стены, в шторы, в халаты врачей. Я, наверное, ещё долго буду чувствовать его, даже когда уеду далеко отсюда. Он будет преследовать меня. Или я сама буду искать его повсюду: в каждом месте, дне, в каждом новом больничном холле.

Энди сидит за столом. Перед ним раскрыты истории болезней, но взгляд устремлён в одну точку. Сквозь строки и страницы. Сквозь время. Я знаю: он не читает — ждёт. Наверное, с самого утра, с моего первого шага по коридору. Он знает, что я ухожу. Чувствует это так же остро, как я. И в этом знании между нами уже нет стены. Только долгое, усталое понимание, которое пришло после всех войн, ран и слов, которые невозможно взять обратно.

Я сажусь напротив. Стул подо мной скрипит. Звук кажется предательски громким в наступившей тишине. Мы молчим. Но молчание тёплое, человеческое, не ощетинившееся. Не напряжённое. Оно как старое одеяло, под которым можно согреться, даже если за окном зима.

— Ты сегодня уезжаешь, — наконец говорит он.

Голос ровный. Он не спрашивает — знает.

— Да, — отвечаю я. — Сегодня.

Поднимает глаза. Я встречаю их. Коньячные, тяжёлые, с той глубиной, в которой когда-то жила темнота, пугавшая меня до дрожи. Я боялась этих глаз, того, что в них видела, того, что они делали с мной. Сейчас в них нет ни злобы, ни отчаяния. Только усталость, граничащая с покоем. И принятие, на которое у обычных людей уходят годы. Он смотрит на меня, как на берег, от которого отчаливает лодка, на коридор, в котором исчезают тени, на догорающую свечу — с благодарностью за свет и с пониманием, что тьма неизбежна.

— Я не злюсь на тебя, Мия, — произносит он.

Каждое слово падает, как камень в воду. Медленно. Тяжело. Без всплеска.

— Я никогда не злился. Я просто не умел быть рядом, как это делают обычные люди. Не знал, как быть с тобой и как быть собой. Ты не виновата.

Он замолкает. Я вижу, как его пальцы сжимаются в кулаки. Как жилы ходят под кожей. Хочет сказать что-то ещё, но это даётся ему с трудом. Он всегда вынашивает мысли слишком долго.

— Я ревновал тебя.

Его голос ломается. Не на слоге — на самом слове. На том самом чувстве, которое он наконец выпускает наружу.

— Я начал ревновать тебя так, что задохнулся. Ненавидел его, когда ты улыбалась.

Поднимает на меня глаза. И я вижу в них то, чего не было раньше. Обнажённую, кровоточащую правду.

— Мия, я и сейчас ревную тебя. С ним ты дышишь. Он умеет быть рядом.

Замолкает. Проводит ладонью по лицу. Устало. Как человек, который не спал много ночей.

— И знаешь, что самое страшное, Мия?

Я молчу. Я не могу говорить. Горло сжато. Сердце колотится где-то в висках.

— Я ведь всегда знал, что он хочет быть с тобой. И ты хочешь. Видел по твоим глазам, по его плечам, по этому проклятому воздуху между вами. И я ничего не мог сделать, потому что сам когда-то сделал то же самое. Он...он не мстил. Просто был и есть рядом. Ни капли расчёта. В этом только ты. И он.

Энди замолкает. Опускает голову. Плечи вздрагивают. Он борется с собой, но проигрывает раз за разом.

— Я не знаю, что это, — продолжает он глухо. — Парадокс? Ирония? Наказание? Он дал тебе то, что я разрушил.

Он снова смотрит на меня. В его глазах слёзы. Настоящие. Тяжёлые. Они не текут по щекам, но стоят в глазах, как стекло, как лёд, как всё, что он так долго держал внутри.

— Я проиграл, Мия. Я боролся с тенью. С самим собой. И проиграл.

Слушаю. Молча. Что-то внутри меня — давнее, зажатое, скрученное в тугой узел — начинает отпускать, словно разжимается невидимая пружина, которая держала меня в напряжении все эти годы, а теперь разрешило мне выдохнуть.

— Я знаю, — говорю я.

Хочу расплакаться, но не от боли. Это — освобождение. Слёзы обжигают изнутри, но не выходят наружу. Я держу их, потому что если заплачу сейчас — не смогу сказать то, что должна.

— Ты не виноват. Ты пытался изо всех сил. И я хочу, чтобы ты знал: я не виню тебя. Если нужно сказать «прощаю», то, да, я прощаю тебя. Полностью. Без оговорок. За всё.

Делаю паузу. Мне трудно дышать, но я продолжаю.

— За холод тех дней, когда ты узнал правду. За молчание, которое меня почти задушило. И за нежность. Ты давал её, как умел, Энди.

Он не отводит взгляда. Его кадык дёргается, пальцы впиваются в край стола, белея костяшками. Что-то в его лице снова ломается, как плотина, которую прорвало, но он держится. Нижняя губа дрожит, он часто он моргает, дышит тяжело.

— Я не заслужил такой женщины. Я не Кори. Не умею говорить, когда мне плохо.

— Прощение не нужно заслуживать. Оно просто даётся. И я даю его тебе. Прощай, Энди. — Сейчас я тороплюсь закончить разговор — не хочу обсуждать с ним Кори.

Сама мысль о том, что мне нужно поговорить с Кори...Я еще здесь, но она рвёт меня на куски.

Встаю. Ноги ватные, но я заставляю себя идти. Огибаю стол. Кладу ладонь на его плечо. Тёплую. Живую. Он не отстраняется. Напротив, на мгновение накрывает мои пальцы своими — сухими, горячими, слегка дрожащими. Мы замираем. В этом касании, коротком, почти целомудренном, закрывается целая глава. Глава боли, страха, удушливой привязанности, которая сломала нас обоих. Она закрывается не со скандалом, не с громом — с тихим шелестом, как переворачивается последняя страница в книге, которую ты так и не решился дочитать до конца.

— Береги себя, — говорю я.

— И ты, — отвечает он.

Выхожу, не оборачиваясь — не могу.

Лифт. Стены. Зеркало, в котором я вижу своё отражение. Уже не то, прежнее. Лицо стало спокойнее. Глаза глубже. В уголках губ — тень усталости, но не обречённости. Я спускаюсь. Кажется, что вместе с этажами уходит всё, что давило. Остаётся лёгкость. Горькая, но чистая, как воздух после грозы, первый вдох после долгой болезни.

Заходя в холл третьего этажа, сердце начинает колотиться где-то в горле. Я знаю, кого увижу у стеклянных дверей. Знала ещё до того, как вошла в лифт. Ещё ранним утром, когда открыла глаза и поняла, что сегодня — последний день. Он всегда ждёт меня. Всегда рядом. Его присутствие — как пароль. Как тёплый свет в окне и тихий ответ на незаданный вопрос.

Кори стоит в своей вечной позе, засунув руки в карманы. Но сегодня он выглядит не так, как обычно. Плечи напряжены. Скулы сведены. Он пытается улыбнуться, но улыбка выходит

скомканной, как детский рисунок, смытый дождём. Я вижу, как его губы дрожат. Он сглатывает. Глаза наливаются влагой, но держится. Из последних сил. Всегда держится. Всегда — ради меня.

— Ну что, — выдыхает он.

Голос срывается на середине. Как струна, натянутая слишком сильно. Ветка, которая вот-вот сломается под тяжестью снега.

— Уезжаешь?

— Уезжаю, — отвечаю я.

Мой голос звенит от усилия. Я боюсь, что он сорвётся. Или я сорвусь. Или мы оба. В эту пропасть, которая разверзлась между нами за одну секунду.

— Надолго?

— Не знаю.

Смотрит на меня. Я вижу, как его маска — та самая, безупречная, вечная — спадает на глазах. На лице проступает растерянность. Страх. Нежность, о которой он никогда не говорил, но которую я всегда чувствовала. Он хочет сказать что-то важное, но не может. Слова застревают в горле. Я вижу, как он борется с собой, сдерживается, чтобы у меня было легко на душе. Но у него не выходит. И от этого моё сердце рвётся медленно. Нить за нитью. Волокно за волокном.

Он вдруг вынимает руки из карманов халата, сжимает и разжимает пальцы, будто пытается удержать что-то невидимое, потом поднимает на меня глаза.

— Можно я скажу тебе кое-что, и ты выслушаешь меня до конца?

Голос тихий. Слишком тихий. Как будто он боится, что если скажет громче — слова разобьются.

— Конечно, — шепчу я.

Делает шаг ко мне. Один. Медленный. Будто идёт по канату над пропастью.

— Ты помнишь, как мы познакомились? — спрашивает он.

— Конечно помню.

— Я тогда подумал: вот человек, который не бросит. Не предаст. Не исчезнет. Я не знал, почему такие мысли пришли в голову. Просто почувствовал. — Он замолкает, смотрит куда-то мимо меня, на свет из окна, на пыль в этом свете. — Я всю жизнь учился не привязываться. С самого детства. Люди уходили, исчезали, умирали, предавали. Мне казалось, что меня уже ничем не пробить.

Он переводит взгляд на меня. И в этом взгляде — всё, что он носил в себе годами. Вся его история и боль.

— А потом появилась ты. И панцирь треснул. Не сразу. Сначала маленькая трещинка. Потом ещё одна. А потом я просто рассыпался. Я остался перед тобой голый. Без защиты. И это было самое страшное, что я когда-либо чувствовал, потому что я знал: если ты уйдёшь, я не соберу себя заново. Не смогу. Не сумею.

Он делает ещё шаг. Теперь мы стоим совсем близко. Я вижу, как дрожат его ресницы. Как слёзы уже не просто стоят в глазах — они срываются. Медленно. Беззвучно. Он не вытирает их.

— Помнишь, ты говорила, что после драки меня могут уволить из больницы. Я не ушел бы. Согласился бы на перевод на любую должность, но остался бы.

Тяжело...

— Я остался бы из-за тебя. Ми, ты не привычка, просто ты здесь. Каждый день. Каждое утро. Я могу видеть тебя, знать, что с тобой всё в порядке. Этого всегда достаточно.

Замолкает.

— А теперь ты уезжаешь, и я не знаю, что мне делать со всем этим. Со всем, что не успел сказать. Но если не скажу сейчас — не скажу никогда.

Он смотрит мне в глаза. Мокрый. Открытый. Беззащитный.

— Я не буду просить тебя остаться. Не буду, Ми. Если попрошу — ты останешься.

Делает паузу. Просто вдыхает и выдыхает, не отводя глаз.

— Я хочу, чтобы ты уехала и нашла себя, свой путь. Ты просто обещай быть счастливой, хорошо?

Отворачивается. Выдыхает. Сдавленно. Как человек, который только что вырвал из себя что-то живое.

— Кори, — шепчу я.

Подхожу. Обнимаю. Впервые так крепко, так отчаянно. Так обнимают перед разлукой, когда не знают, увидятся ли снова. Его руки мгновенно смыкаются у меня на спине. Прижимают слишком крепко, будто хотят запомнить каждую клеточку. Каждый изгиб. Каждый вдох. Он утыкается носом в мои волосы. Я чувствую, как вздрагивают его плечи, но он не издаёт ни звука. Просто держит меня. Так, будто я — всё, что у него осталось.

— Ты вернёшься? — его шёпот еле слышен. Как слова исповеди, последней надежды, крика, запертого в груди.

— Я не знаю, Кори, правда. Но ты же помнишь, что ты — мой дом. Ты всегда со мной, в каждом рассвете. Кори...

Не могу больше ничего говорить. Он тоже молчит и только крепче прижимает к себе. Его сердце колотится прямо у моей груди — часто, сбивчиво— так бьётся птица о стекло. Я запоминаю этот ритм, забираю с собой, впечатываю в память, чтобы потом, в самые тёмные ночи, доставать его и согреваться.

Мы стоим так долго. Минуту. Две. Вечность. Время перестаёт существовать. Есть только он. Только я. Только это объятие, в котором мы оба пытаемся удержать то, что уже утекает сквозь пальцы.

Он первым разжимает руки. Медленно, осторожно отстраняется, смотрит на меня. В его глазах то, что он не сказал, чего не умеет говорить и всё, что я и так знаю.

— Иди, — говорит он. — Пожалуйста. Тебе пора.

Голос тихий. Надломленный. Но твёрдый.

— Иди, Мия. Пока я не начал просить.

Смотрю на его мокрое лицо, губы, глаза. Он отпускает меня. По-настоящему. Отпускает, несмотря на то, что каждое его слово, каждый жест, каждый взгляд кричат об обратном.

— Кори, я буду звонить. Обещай всегда отвечать, а лучше приезжать, хорошо?

— Иди, Мия.

Я поворачиваюсь. Шаг. Ещё шаг. Каждый — как по битому стеклу, по раскалённым углям. Как по собственной душе.

— Ми!

Его голос догоняет. Останавливает. Сердце падает вниз. В пропасть. В пустоту.

Не оборачиваюсь.

У выхода меня встречает Бенджи. В руках — бумажный пакет. Из него доносится знакомый тёплый запах ванили и риса. Тот самый пудинг, который он приносит мне по утрам, когда я не позавтракала. Я не умею начинать день без него. Протягивает его мне. Тепло проникает в ладони сквозь бумагу, поднимается к груди по рукам, по плечам.

— Ты всегда можешь вернуться, Мия Блэйн, — говорит он. Его голос — как старое одеяло, которое защищает и согревает. — Здесь тебя всегда ждут.

Я улыбаюсь сквозь подступающие слёзы.

— Спасибо, Бенджи. За каждое утро.

Стою у самых дверей, ведущих на улицу. Передо мной панорама: длинные галереи Истхолла, залитые тёмным зимним светом. Всё то же, что и всегда. Но сегодня это всё — в последний раз. Так, как бывает, когда оставляешь что-то родное, ставшее первой раной и первым спасением.

Снова оглядываюсь на стены. На их строгий, благородный покой. И, наконец, прощаюсь. Без слов. Одним взглядом. Истхолл не исчезнет. Он будет ждать...

Холодный ветер касается лица. Пахнет мокрым асфальтом. Свободой. Будущим.

Я делаю шаг. Ещё один. И иду вперёд. К свету. К ветру. К горизонту, который ещё не открылся, но уже зовёт. Иду, не оглядываясь.

Глава 2

Я стою у окна ординаторской, вглядываясь в пустой коридор, и знаю: она не вернётся. Ни через месяц, ни через три — никогда. Не иду её провожать — есть, кому это сделать. Да я и не могу. Стою, ощущая, как изнутри поднимается холод. Он явился не сейчас — был во мне всегда и снова прокрался в меня в тот миг, когда рухнула правда: она была с ним. С Кори. В Будапеште. Носила его ребёнка. Именно тогда я отступил. Взял и вышел из этой истории, потому что остаться в ней означало бы дышать ядом.

Помню, как она говорила со мной в палате. Слова падали, как камни, и мир беззвучно осыпался пеплом. Я не закричал. Только шаг назад, потом ещё один. Невозможно быть рядом с той, что принадлежала ему. Невозможно прикасаться к этой женщине. Она выбрала его — не осознавая, не желая, но выбрала. А я не умел и не умею делить даже прошлое.

Кори. Рыжая, которую я у него забрал. Он любил её, но медлил, смотрел со стороны и боялся. Я не стал ждать — взял её на глазах у его страха, чтобы доказать себе, что не сломан, что способен на ту же алчность, как и все. А теперь он забрал моё. Не со зла, не осознавая, — но забрал. И я не знаю, что чувствую. Вернее, знаю: пустоту, облачённую в лёд.

Я отдалился — не умел иначе. Когда я понял, кому она отдала себя, с неё рядом стало невозможно дышать. Каждый взгляд на неё стал бы напоминанием. Знаю, что это было до меня, что она не осталась с ним, что у той ночи не было повторения. Но каждое прикосновение стало бы приговором. Я выбрал отчуждение. И не жалею. Просто мёрзну. Но холод не снаружи — он внутри, разливается по венам, врастает в кости, делается мной. Я растворяюсь в этой бездне, и обратной дороги нет.

Встаю. Иду в операционную. Халат, перчатки, скальпель. Я — лучший торакальный хирург Истхолла. Тот, кто вырывает жизни у смерти, не боится ни крови, ни агонии — ничего, кроме пустоты, заполняющей лёгкие, когда вспоминаю её. И тишины, в которой я остался один.

Режу. Зашиваю. Спасаю. Озноб становится кожей, бездна — домом, отчаяние — привычным ритмом пульса. Сколько ещё продержусь? Сколько сумею не упасть? Не знаю, но я не вправе остановиться. Госпиталь — моя единственная опора, смысл, доказательство того, что я ещё существую. Если лишусь этого — рассыплюсь. А так нельзя. Без этой работы меня нет и не было.

Операция закончена. Выхожу в стерильный коридор, иду мимо белых стен и равнодушных ламп. Люди скользят взглядами, видят прежнего меня: сильного, холодного, недоступного. Никто не замечает, как я тону, судорожно глотая воздух, которого больше не осталось.

Кабинет. Дверь за спиной. Кресло. Руки передо мной вдруг начинают дрожать. Не остановить. Дрожь поднимается из самой глубины, оттуда, где прячу душу. Закрываю глаза — и вижу её лицо в тот миг, когда я отстранился. В них непонимание, обида, мольба. Я не сумел объяснить, что не могу быть с той, кто была именно с ним. Это навсегда вшито в меня — я не знаю, можно ли было измениться и как это сделать. Единственное, что смогу — остаться прежним — тем, кем был до неё. Не целым — нет. Пустота останется во мне, и только работа удержит на поверхности. Знаю лишь, что должен идти вперёд. Делать своё дело. Быть тем, кем был всегда. Потому что стоит мне перестать — я сломаюсь. А ломаться нельзя. Я — Энди Шейн. Лучший хирург Истхолла.

И я не знаю, кто я без неё.

Стеклянные двери госпиталя ещё хранят холод твоего последнего прикосновения, когда ты садишься в такси. Я выхожу за тобой, но ты не оборачиваешься. Не потому что не хочешь — не можешь. Один поворот головы, один взгляд через стекло, и всё, что мы строили годами, рухнет прямо на асфальт, под колёса уезжающей машины. А я не хочу этого. Уезжай, не огля-

дываясь. Если посмотришь на меня снова, я не смогу сдержаться. Так нельзя. Не здесь. Не перед этими дверями, не под этим небом, не в этом городе, где каждый второй знает меня. Держу лицо ради тебя и стою здесь, пока красные огни такси не растворяются в сером потоке машин. Ветер пробирается под халат, стекло за спиной выстуживает спину, город продолжает жить, не замечая, что только что из него уехала целая вселенная. Люди идут мимо, смеются, говорят по телефону, спешат домой к ужину, в теплые дома — туда, где их ждут. А я стою и не могу заставить себя сделать шаг. Внутри всё обрывается. Не взрывается, не рассыпается — просто перестаёт держать. Так рвётся нить, которую тянут слишком долго, не замечая, что она уже давно истончилась до предела. Остаётся пустота. Но не та, что не даёт сделать вдох. Моя заполняет собой всё — тихо, неизбежно, как вода, просачивающаяся в лёгкие. Объяснять бессмысленно. Никто не поймёт. Я и сам не понимаю. Просто стою и смотрю на дорогу, которая только что забрала тебя.

Ветер усиливается. Он холодный, чужой, пахнущий бензином, мокрым асфальтом и чьей-то далёкой жизнью, которая продолжается, несмотря ни на что. Я сую руки в карманы, но это не помогает. Дрожь не от холода. Она поднимается откуда-то изнутри, из той точки, где, как говорят, живёт душа. Если она, конечно, существует. Если она у меня осталась. Может быть, ты увезла её с собой в том чемодане, который стоял у твоих ног, пока ты садилась такси. Может быть, она сейчас летит над океаном, пристёгнутая ремнём безопасности, смотрит в иллюминатор на облака и не знает, что её оставили без присмотра. А может, она всё ещё стоит здесь, рядом со мной, у стеклянных дверей, и не решается войти обратно в тело, которое её предало — не удержало тебя, не сказало нужных слов, не сделало того единственного шага, который мог всё изменить.

Я не помню, сколько проходит времени. Стеклянные двери то открываются, то закрываются, впуская и выпуская людей, которые идут по своим делам с той уверенностью, какую я когда-то тоже имел. Они не смотрят на меня. А если и смотрят, то лишь мельком, как на уличного музыканта или на человека, который забыл, куда шёл. Возможно, они правы. Я действительно забыл. Забыл, как дышать, не думая об этом. Забыл, как улыбаться, не прикладывая усилий. Забыл, каково это — быть целым, когда ты не в реанимации, делаешь всё возможное, чтобы снова услышать звуки жизни.

Дорога домой выпадает из памяти. Я не знаю, как выхожу из-под стеклянного козырька, пересекаю парковку, сажусь в машину или ловлю такси, как поднимаюсь на лифте. Всё это происходит без меня — на автопилоте, который тело включило, когда сознание отключилось. Потом я уже на диване, в темноте, не раздеваясь, гляжу на собственные ладони, которые отказываются быть моими. Будто тело знает то, что разум ещё отказывается принять. Я смотрю на свои руки, как смотрят на чужие снимки — с отстранённым любопытством патологоанатома, который уже знает диагноз, но ещё не произнёс его вслух. Эти руки умеют делать пункции, останавливать сердце разрядом тока, потом возвращать его к жизни. Но сейчас они не могут удержать даже самих себя.

В комнате тихо. Так, что я слышу, как тикают часы на кухне, гудит холодильник, где-то за стеной соседи разговаривают о чём-то обыденном — о работе, счетах, планах на выходные. Их жизнь продолжалась, дом полон голосов, тепла, присутствия. А мой лежит в руинах, хотя стены стоят на месте, мебель не сдвинулась ни на сантиметр, кактусы по-прежнему равнодушно смотрят на город из окна гостинной. Странно, как физическое пространство может оставаться неизменным, когда всё внутри тебя разлетается на куски. Диван, на котором мы смотрели фильмы. Книжная полка, которую ты помогала собирать, смеясь над инструкцией. Ковёр, на котором ты любила лежать, раскинув руки, и рассказывать о своих планах. Всё это здесь. И всё это мёртвое.

Перед уходом ты обняла меня. Я до сих пор чувствую твои ладони на спине — тёплые, уверенные, будто ты держала не меня, а всё, что между нами было. Твоё дыхание на шее. Твой запах, который останется на воротнике рубашки до тех пор, пока я не решусь её постирать. А я не решусь.

Ты сказала: «Ты — мой дом». Сказала так, будто это была единственная правда, которую ты могла мне оставить. А потом уехала. А я остался. В этом вторнике, в госпитале, в стенах, которые никогда не были домом. Домом была ты. Теперь я — человек без адреса, который возвращается вечером не к себе, а в пустую коробку, где мебель ещё помнит твой силуэт, но уже не верит, что ты вернёшься.

Я пытаюсь вспомнить, как всё начиналось. Как ты впервые вошла в мою жизнь — не постучавшись, не спросив разрешения, просто открыла дверь и осталась. Тогда я ещё не понимал, что это навсегда. Что ты не гость, не временное увлечение, не случайная встреча в череде таких же случайных. Ты была началом чего-то, чему я не знал названия. Оно заставило меня впервые за долгие годы подумать, что, возможно, одиночество — не единственный способ существования. Что, наверное, можно жить иначе — с кем-то, ради или для кого-то. Ты научила меня смотреть на мир не как на операционную, в которой нужно всегда быть собранным и точным, а как на место, где иногда позволительно быть уязвимым. Где можно не знать ответов, а просто быть.

Кухня встречает меня холодным светом. Я открываю дверцу шкафа, тянусь за кофейной чашкой, но не вижу её. Перед глазами стоит твоё лицо — то, последнее, когда ты пыталась улыбнуться и не заплакать одновременно. У тебя не получилось ни то, ни другое. У меня, впрочем, тоже. Закрываю шкаф. Кофе — это для живых. А я пока не уверен, что отношусь к ним. Вместо этого наливаю стакан воды, но не пью. Просто держу его, чувствуя, как конденсат стекает по пальцам, холодные капли падают на пол, время замедляется, превращаясь в вязкую субстанцию, в которой тонут все мысли, кроме одной: тебя больше нет здесь.

Вода в стакане прозрачная, но я не вижу своего отражения. Я вообще перестаю видеть себя. Зеркало, оконные стёкла — всё это показывает какого-то чужого человека с пустыми глазами и серым лицом. Человека, который когда-то был Кори Уэйном, блестящим реаниматологом. Бесстрашным. Теперь он не может выпить стакан воды, потому что боится, что не удержит его, и руки предадут его так же, как предали два часа назад, когда он стоял у стеклянных дверей и смотрел, как уезжает его жизнь.

Сажусь на пол, прижимаясь спиной к стене. Холод плитки проникает сквозь одежду, но я не чувствую его. Пустота растёт. Не снаружи — внутри, занимая место, где раньше жили тепло, смех, привычка просыпаться и знать, что ты есть. Теперь там нет ничего. Только эхо твоего голоса, которое повторяет одно и то же: «Ты — мой дом». Я был твоим домом. А ты была моим. Мы были друг для друга целыми мирами, а теперь один из миров уехал на такси в аэропорт, а второй остался сидеть на ледяном полу, не в силах даже раздеться.

Я понимаю, что это не конец. Будут звонки. Будут приезды. Мы останемся в жизни друг друга, как два корабля, которые договорились не терять друг друга из виду, но разошлись разными курсами. Но что-то сломалось. Окончательно и бесповоротно. Что-то, что я не умею чинить, — не потому что не хочу, — не знаю как. Я не боюсь ран, но эта — внутри, и к ней не подобраться ни скальпелем, ни нитью, ни молитвой.

Вспоминаю, как однажды после четырнадцатичасовой смены ты сказала, что я самый сильный человек из всех, кого ты знаешь. Я приехал к тебе и просто сидел на кухне, глядя в одну точку. Ты тогда не спрашивала, что случилось. Просто села рядом, взяла мою руку в свою и молчала. И в этом молчании было больше поддержки, чем во всех словах, которые я когда-либо слышал. Ты умела быть рядом так, как никто другой, оставаться, когда все уходили. И вот

теперь ты всё-таки ушла. Так распорядилась жизнь, с которой мы оба не смогли договориться. И от этого ещё больнее.

Закрываю глаза. Ты стоишь у двери в Будапеште, и свет падает на плечи так, будто специально выбирает тебя из всего мира. Ты смотришь на меня — без страха, без сомнений, целуешь так, будто мы уже прощаемся, хотя тогда ещё не знаем об этом. А сегодня уходишь. Я не умею останавливать — только ждать, когда вернёшься. Ждать — это единственное, что у меня получается по-настоящему. Не умею отпускать. Не умею забывать. Не умею жить без тебя. *И не собираюсь учиться*.

Сижу долго. Глаза начинают гореть, но слёз нет. Я не умею плакать, когда надо. Только смотреть в пустоту, пока она не станет частью меня и не займёт место, где раньше были ты, твой смех, твои звонки посреди ночи. Ничего не в порядке. И не будет, пока ты не вернёшься.

Встаю. Иду в гостиную. Включаю свет. Книги, пластинки, фотокарточки — всё это моё. Я сам построил этот мир из тишины, утреннего кофе, случайных находок в букинистических лавках и привычки улыбаться, даже когда не хочется. Но теперь этот мир пуст. Как и я.

Снова смотрю на кактус на подоконнике, который ты подарила мне в тот день, когда я сказал, что у меня нет ни одного растения, потому что я не умею заботиться о чём-то, что не может попросить о помощи. Ты тогда рассмеялась и сказала: «Научишься». И я учился. Поливал его по расписанию, пересаживал, разговаривал с ним по утрам, когда думал, что никто не слышит. Теперь он здесь, колючий и молчаливый, как единственный свидетель моего одиночества.

Беру в руки пластинку — одну из тех, что мы слушали вместе. Ставлю её в проигрыватель, опускаю иглу. Музыка заполняет комнату, но не согревает её. Она звучит как эхо из прошлой жизни, из того времени, когда ты была рядом и мир имел смысл. Теперь это просто музыка. Красивая, но пустая. Как и всё остальное.

Спальня. Потолок. Мысли. Твой смех где-то в стенах. Голос, произносящий моё имя так...Лежу и думаю о том, как ты касаешься моей руки, когда тебе страшно. О том, как ты уходишь, не оборачиваясь. К этому невозможно привыкнуть.

На тумбочке лежит телефон. Беру его в руки, открываю наш диалог. От тебя сообщение: «Я уже скучаю». Читаю его раз, потом ещё раз. Хочу написать ответ, но не знаю, что сказать. Что я тоже скучаю? Слишком просто. Что я не могу дышать? Слишком честно. Что я сижу на полу гостинной и разговариваю с кактусом? Слишком похоже на правду. Гашу экран.

И тогда я позволяю себе просто быть.

Плачу так, как не плакал даже тогда, у стеклянных дверей. Я не плачу, когда умирают пациенты. Не плакал, когда ушёл отец. А тут — просто лежу в темноте и позволяю себе рассыпаться на части, как будто кто-то вынул из меня стержень, на котором всё держалось. Это страшно и в то же время освобождающе. Как будто я наконец признал то, что отрицал последние несколько часов: я живой. И мне больно.

Когда слёзы заканчиваются, остаётся тишина. Не пугающая — просто честная. Она говорит то, что я и так знаю: надо идти дальше. Дышать. Работать. Ждать. Потому что ты вернёшься. Наверное. Верить — это единственное, что у меня осталось.

Снова кухня. Кофе. Окно. Город зажигает огни, не спрашивая, готов ли я к этому. Завтра я пойду в госпиталь. Буду спасать жизни, шутить с медсёстрами, держать лицо. И ждать. Звонка, сообщения. Или возвращения. Ждать, потому что по-другому не умею. Отпускать — не моя профессия. Моя — оставаться.

И я остаюсь.

Утро наступает не светом, а звуком. Будильник вгрызается в тишину спальни, как игла в плоть, и я ненавижу его за то, что он посмел существовать в мире, где я теперь один. Тело просыпается раньше сознания. Руки сами находят брюки, рубашку, галстук. Сегодня в девять совещание, где объявят нового временного главу Истхолла. Пальцы завязывают узел с той же механикой, с какой ставят капельницы — ровно, точно, безжалостно. Зеркало в прихожей отражает чужое лицо. Глаза пустые, как пробирки, из которых испарился реактив. Я улыбаюсь отражению, проверяя, работает ли маска. Работает.

Присматриваюсь. Человек в зеркале выглядит так, будто не спал неделю. Тени под глазами, щетина, которую он забыл сбрить, галстук, завязанный криво, но не потому, что он не умеет, а потому, что ему всё равно. Как он вообще собирается идти на работу?

В госпитале пахнет хлоркой, кофе и страхом. Обычный запах. Запах, который раньше казался почти родным, а теперь — вокзалом, с которого уехал поезд.

— Доктор Уэйн, вы сегодня рано, — голос старшей медсестры догоняет меня в коридоре, липкий, как патока. — Кофе? Выглядите бледным.

— Нет, спасибо, — отвечаю, не сбавляя шага. — Мне нужно в ординаторскую.

Но я не дохожу. Останавливаюсь у окна, глядя, как по карнизу ползёт голубь. Он перебирает лапами, будто не знает, куда идти. Я понимаю его. Мы оба — живые существа, потерявшие направление.

— Доктор? — она всё ещё стоит рядом. — С вами всё в порядке? У вас пациент в третьей, с послеоперационным осмотром. И из двадцатой тоже ждёт результаты МРТ еще со вчерашнего дня.

— Да, конечно, — я киваю, но не двигаюсь. Голос звучит как чужой, будто говорю не я, а тот тип из зеркала. — Скажи, ты когда-нибудь замечала, что стёкла в больницах всегда холодные? Даже летом. Ими нельзя согреться. Они всё время что-то отражают, но никогда не впускают тепло.

— Простите?.. — она моргает, явно сбитая с толку. — Доктор Уэйн, мне позвать кого-нибудь?..

— Нет, всё в порядке, — я отрываю глаза от голубя и иду по коридору, чувствуя, как её растерянный взгляд сверлит мне спину. Порядок. Конечно, порядок. Просто я разучился слышать человеческую речь. В голове всё звучит твой голос, и он единственный, что имеет значение.

Я ловлю себя на том, что стою перед дверью в третью палату, держась за ручку, как утопающий за борт лодки. Перед глазами мелькает: твои ладони на моей спине. Твой голос: «Ты — мой самый лучший человек». Ручка обжигает холодом. Захожу.

Пациент — пожилой мужчина с добрым лицом и усталыми глазами — лежит на кровати, глядя на капельницу. Рядом суетится молодая медсестра Лив, совсем девчонка, пахнущая персиковым шампунем и юностью.

— Доктор Уэйн! — она сияет, как будто я принёс ей подарок, — Можно ли пациенту уже садиться? И у него зуд под повязкой, я хотела...

— Ничего, само пройдёт, — перебиваю я, не узнавая собственный голос. — Руки дрожат, нужно собраться.

— Что? — она растерянно опускает глаза на свои ладони, сжимающие планшет. — Нет, я...

— Не ваши. Мои. У меня руки дрожат. Заметили?

Она замолкает, уставившись на меня с тем же выражением, что и старшая, которую я встретил в коридоре. Смесь страха и жалости к тому, кто ещё вчера был несокрушим. Я под-

хожу к пациенту. Его зовут... я забыл имя. Смотрю на бирку. Шон. Как аквариум в моей детской комнате. Шон-рыбка. Шон-пациент. Мы все кого-то или что-то теряем.

— Как вы себя чувствуете, Шон? — спрашиваю я, поднося фонендоскоп, но не зная, куда его приложить. Грудь. Точно. Грудь.

— Хорошо, доктор. Только этот зуд — начинает он.

— Вы знаете, что самое сложное в операциях на открытом сердце? — перебиваю я, глядя сквозь него, в стену. — Не само вмешательство. А момент, когда ты останавливаешь сердце и надеешься, что сможешь запустить его снова. Ты держишь в руках жизнь, а она молчит. И ты не знаешь, была ли твоя рука достаточно твёрдой.

Шон бледнеет.

— Вы... вы хотите сказать, что-то не так? С моим сердцем?

Я моргаю и возвращаюсь в реальность. Лив стоит с открытым ртом, в глазах — ужас.

— Нет. Всё в порядке. Ваше сердце работает отлично. Это моё не запускается.

Тишина. Тяжёлая, как плита.

— Простите, — я разворачиваюсь и выхожу, оставляя их в этом неловком, чудовищном недоумении. В коридоре меня догоняет голос из-за спины.

— Доктор Уэйн! — это Сара, заведующая сестринским постом. Высокая, остроскулая, всегда собранная, как скальпель перед разрезом. — Мне нужно подписать лист назначений. И ещё... мне сказали, вы странно себя ведёте. Может, вам нужен выходной?

Я беру лист. Ручка кажется чужеродным предметом, вроде зонда или щипцов. Я смотрю на графы, но буквы расплываются. Твоё лицо. Ты, наверное, уже в том месте, где всегда солнце. А я — здесь, внизу, в пахнущем хлоркой аду.

— Если дорожишь кем-то, Сара, — медленно произношу я, — то лучше ничего не строить. Стройка — это непрочная вещь. Один неверный шаг, и всё разлетается на осколки. А осколки нельзя снова собрать. Они режут.

— Доктор Уэйн, я спрашивала про лист назначений, — она осторожно заглядывает мне в лицо. — Какая стройка?

— Никакая. Уже никакая.

Я ставлю подпись — кривую, непохожую на мою. Возвращаю лист. Иду дальше. Мне нужно в ординаторскую и потом на собрание, а лучше в свой кабинет. Быть сейчас где-то, где нет людей, и можно просто стоять и смотреть в стену, пока не наступит вечер.

Но и там нет спасения. В ординаторской сидят двое интернов, что-то живо обсуждают. Замолкают, как только я вхожу. Встают и пятятся назад. А я, кажется, так и не сажусь. Стою у окна и смотрю на парковку. Снова ты, такси, захлопнутая дверь, красные огни.

— Доктор Уэйн? — робко зовёт один из интернов, кажется, Николас. — Вы просили напомнить про обход в реанимации.

— А? Да. Обход. Реанимация. Там много людей, которые почти не жили. Или жили слишком мало. Или жили не с теми. Им надо было жить, но что-то пошло не так.

— Простите, вы вообще... о чём вы?

— О доме, Ник. О доме, который уехал в аэропорт и теперь там. Вы не видите? Все эти здания — просто стены. А дом — это человек, который произносит твоё имя так, будто это единственное слово на земле.

Я осекаюсь. Интерн смотрит на меня с таким ужасом, будто перед ним стоит призрак. Может, так и есть.

— Вам плохо? Позвать кого-нибудь?

— Мне не плохо, Ник. Мне никак. Сегодня я просто медицинский инструмент, который забыли простерилизовать. Или пользовались так часто, что он затупился.

Выхожу, не дожидаясь ответа. В коридоре меня останавливает Лив. У неё трясутся губы.

— Доктор Уэйн, Шон, тот утренний пациент... он спрашивает, не нашли ли у него что-то... вы так странно говорили...

— Скажите ему правду.

— Какую правду?

— Что у него отличное сердце. Ему не о чем беспокоиться. Сердце не бьется у его врача.

Я иду в кабинет, закрываю дверь и сажусь на пол, как ночью на кухне. Под дверь просовываются чьи-то тени. Стучат. Орут. А я сижу и смотрю на собственные ладони, лежащие на коленях, как два мёртвых существа. Руки реаниматолога, которые умеют возвращать к жизни, но не сумели удержать ту, кто держала меня самого.

В дверь стучат настойчивее. Потом ещё раз. Потом голос старшей заведующей, встревоженный, срывающийся:

— Доктор Уэйн, откройте, пожалуйста!

Я не отвечаю. Просто сижу и смотрю в стену. Мёртвенно-белая, больничная, безликая. На ней нет ни трещин, ни пятен, ни следов времени. Она кажется идеальной, как всё в этом месте. Идеальная и пустая. Как я.

— Доктор Уэйн? — снова голос — У вас срочный вызов. Пациент в кардиологии, тахикардия. Нужна ваша помощь.

Пациент. Кому-то нужна моя помощь. Кому-то, кто не знает, что его врач сидит на полу собственного кабинета и не может заставить себя подняться. Кому-то, кто верит, что я смогу его спасти. А я не уверен, что смогу спасти хотя бы себя.

Я встаю. Подхожу к двери. Открываю. Передо мной стоят Лиз, Ник и ещё кто-то из персонала.

— Да, — отвечаю я тихо. — Показывайте.

Они расступаются, давая мне дорогу. Я иду по коридору, и каждый шаг отдаётся в висках тупой, ноющей болью. Стены давят, свет режет глаза, голоса звучат как сквозь вату. Всё кажется нереальным, как во сне. В том, где ты снова стоишь у двери в Будапеште, а потом уходишь, не оборачиваясь. И я не могу тебя остановить. Не потому что не хочу — просто не знаю как.

Пациент молодой, лет тридцати. Он лежит на кровати, хватая ртом воздух, и смотрит на меня с той особой надеждой, какая бывает только у людей, которые верят, что их спасут. Я беру его руку, считаю пульс. Сердце бьётся быстро, неровно, испуганно. Как птица, запертая в клетке. Как моё собственное.

— Доктор, со мной всё будет хорошо? — его голос дрожит.

— Всё будет хорошо, — отвечаю я. — У вас сильное сердце. Просто оно сейчас напугано. Иногда сердцу нужно время, чтобы успокоиться. Всё пройдёт.

Он смотрит на меня, не мигая. Медсёстры переглядываются. Я продолжаю держать его за руку, чувствуя, как пульс постепенно замедляется. И где-то в глубине моей пустоты что-то начинает колыхаться. Что-то, похожее на надежду. Напоминание о том, что я всё ещё врач и могу помогать. Я всё ещё жив, даже если не чувствую этого.

Но потом я возвращаюсь в кабинет, закрываю дверь и снова соскальзываю на пол. Потому что быть живым — это одно. А быть целым — совсем другое.

Я — Кори Уэйн. И я остаюсь.

Остаюсь сидеть на полу своего кабинета, потому что встать — значит признать, что ты уехала.

А я пока не готов.

Глава 3

— Не желаете чего-нибудь выпить? — стюардесса останавливается у моего кресла, и её улыбка кажется такой же тёплой, как свет, льющийся в иллюминатор. — Вода, кофе, может быть, бокал вина?

Я отрываю взгляд и несколько секунд смотрю на неё, будто вопрос застал меня врасплох. За стеклом всё ещё переливается океан — бескрайняя синева, усыпанная солнечными бликами.

— А что обычно выбирают те, кто летит на Тенерифе? — спрашиваю я, сама не зная, зачем.

— По-разному, — она мягко пожимает плечами. — Кто-то кофе, чтобы взбодриться перед посадкой или наоборот — вино, чтобы расслабиться. Кто-то просто воду. Могу добавить лимон.

— Отлично. Тогда холодную воду с лимоном.

— Конечно. Хороший выбор. Прекрасного завершения полёта и пребывания на острове.

Она протягивает мне прозрачный стаканчик с тонкой долькой лимона, и я делаю первый глоток. Вода обжигающая, но не ледяная, смывает сухость во рту, накопившуюся за часы полёта, и вместе с ней — часть напряжения, о существовании которого мне вряд ли удастся забыть. Как минимум в ближайшее время. Но меня ждёт новый госпиталь, и я действительно готова раствориться в его стенах. Я очень на это рассчитываю.

— Мы скоро начнём снижение, — добавляет стюардесса, забирая пустой стакан и прерывая поток моих мыслей. — Минут через пятнадцать. Уже видно побережье.

— Красиво, правда? — говорю я, снова поворачиваясь к окну.

— Очень. Тенерифе вообще умеет принимать. Многие, кто приезжает сюда с грузом, уезжают с облегчением.

Она произносит это просто, без пафоса, но её слова задерживаются во мне дольше, чем следовало бы.

— Счастливо остаться.

— Спасибо.

Исчезает в проходе, а я остаюсь смотреть на приближающуюся землю. Трудно определить, что рождается внутри: не покой, не радость, а нечто более тонкое, едва уловимое, как первый проблеск света после долгой ночи. Внутри становится тихо. Голоса и сомнения, которые месяцами спорили в моей голове, обвиняли, требовали, внезапно смолкают, признавая своё поражение.

Трап слегка покачивается под ногами, и первый же вдох тёплого, влажного воздуха становится откровением. Он совсем не похож на тот ледяной, колючий, что остался в городе, где зима сжимала плечи, а каждый вздох напоминал о необходимости быть сильной даже тогда, когда силы давно иссякли. Здешний воздух пахнет солью, йодом и едва уловимым ароматом цветущих деревьев. Стоит закрыть глаза, как он проникает глубже, заполняет собой трещины и пустоты, которые так долго казались неисцелимыми.

Здание аэропорта оказывается небольшим, залитым солнцем, с прозрачными стенами, сквозь которые видно небо. Вокруг звучит незнакомая речь, но в ней слышится мелодия, мягкая, обволакивающая, словно колыбельная. Взяв сумку, иду к выходу, и с каждым шагом походка становится легче, будто с плеч сползает невидимый груз, копившийся годами. Уходит привычка ждать подвоха, недоверчиво вглядываться в будущее. Впервые за долгое время позволяю себе поверить: всё может быть хорошо.

— Такси, сеньора? — окликает меня пожилой мужчина с обветренным лицом, стоящий у выхода.

— Да, до госпиталя, пожалуйста.

— Вы приехали сюда навестить кого-то или по работе?

— Я буду здесь работать.

— Вы врач? Это прекрасно!

— Не совсем. Почему вы спрашиваете?

— Тенерифе — прекрасное место, но нам очень не хватает хорошей медицины, как на материке. Там совсем по-другому.

— Я очень постараюсь помочь.

— Как, если вы не доктор?

— Я приехала сюда, чтобы помочь с хорошими докторами. Обещаю, что буду очень стараться. — Мне становится легко от этого разговора — я приехала не зря. Мне очень важно знать это именно сейчас.

— Сеньора, вы не ответили.

— Я буду управлять вашим госпиталем. Через полгода вы его не узнаете. — Знаю, что не лгу.

— Ох, тогда я тем более рад вам.— Он подхватывает мою сумку, распахивая передо мной дверь. — Садитесь, сеньора.

— Спасибо.

— Издалека летите? Из большого города?

— Да.

— О, тогда вам нужно к океану. В больших городах даже небо давит.

— Вы правы, — признаю я.

— Здесь небо другое. Высокое. В него смотришь — и в груди становится больше места.

Садясь в такси, прилипаю взглядом к окну. Мимо проплывают пальмы, тёмно-зелёные, с глянцевыми листьями, за ними вспыхивает полоска моря, а сверху распахивается небо — такое высокое, что кружится голова. На тротуарах люди, которые улыбаются друг другу, и эти улыбки, как солнечные зайчики, передаются мне.

— Первый раз на Тенерифе? — спрашивает таксист, ловя мой взгляд в зеркале заднего вида.

— Да. — Отвечаю односложно. Я не устала от разговора — наоборот, мне нравится слушать этого добряка.

— Тогда вы быстро поймёте: здесь другое время. Не то, что в мегаполисах, где все бегут, даже когда стоят на месте.

— У меня как раз было такое... — произношу я вслух, неожиданно для себя. — Будто бежала, сама не зная куда.

— Теперь остановились. Это хорошо. Океан не любит суеты.

Внутри разливается тёплое, незнакомое чувство, которое невозможно назвать ни счастьем, ни успокоением. Скорее — свобода. Свобода быть собой, не ломая себя под чужие ожидания. Свобода дышать полной грудью, не сжимаясь от страха. Свобода жить, не думая каждую минуту о смерти.

Я вхожу в вестибюль, и первое, что бросается в глаза, — свет. Он льётся через панорамные окна, заливая пол тёплым золотом. У стойки регистрации стоит пожилая женщина с тро-

стью, рядом — мужчина в рабочей форме, держит пакет с апельсинами. Пахнет хлоркой, кофе и чем-то ещё — солью, что ли? Океан близко.

— Мия Блэйн? — ко мне подходит невысокая женщина в голубом костюме. — Я Лусия, из администрации. Добро пожаловать на Тенерифе. Как долетели?

— Хорошо, спасибо. Где я могу оставить вещи?

— Пойдёмте, я покажу ваш кабинет. Он пока пустоват, но мебель заказали.

Мы идём по коридору. Я отмечаю всё: облупившуюся краску на стенах, треснувшую плитку под ногами, стойку с капельницами, которую медсестра везёт одной рукой, придерживая другой папку с бумагами. Она кивает Лусии, скользит по мне взглядом — оценивающим, быстрым.

— Это Марта, старшая медсестра хирургии, — говорит Лусия. — Она здесь дольше, чем любое руководство. Если хотите знать, как всё на самом деле — спросите её.

— Обязательно спрошу, — мне хочется улыбаться, но я стараюсь выглядеть серьезно. В Истхолле такой «Мартой» был Бенджи.

Мы подходим к лифту. Он не работает. Лусия с досадой вздыхает:

— Третий день. Ждут запчасти с материка. Придётся пешком, простите.

— Ничего. Я разберусь. — Здесь действительно много работы. Но это хорошо.

Поднимаемся на второй этаж. Кабинет — маленькая комната с окном во внутренний двор. Стол, два стула, пустой шкаф. На подоконнике — кашпо с полузавявшим растением, название которого я не знаю.

— Чай, кофе? — спрашивает Лусия.

— Пока нет. Скажите, где мне найти главного врача? Он не встретил меня. — Признаюсь, я возмущена.

— Доктор Карлос Моралес. Он на обходе, но я предупрежу, что вы пришли. — Оправдывается Лусия.

— Не нужно. Я сама его найду.

Лусия мнётся, будто не знает, что сказать.

— Он бывает… резковат. Это не от злости, просто усталость.

— Я понимаю. Спасибо. Мы поладим.

Она уходит, оставив меня одну. Открываю блокнот и записываю: «Лифт — три дня не работает. Проверить заявку на запчасти». Потом выхожу.

Травматология — на первом этаже, в конце длинного коридора. По пути я слышу обрывки разговоров. Медсестра спорит с кем-то по телефону: «Я не могу разорваться, у меня ещё трое в коридоре!» Мужчина в кресле-каталке спрашивает, когда его отвезут на рентген, и никто не отвечает. Пахнет едой из кафетерия — пережаренным маслом и рыбой.

Я нахожу Карлоса на посту. Он стоит, склонившись над историей болезни, и что-то диктует медсестре. Высокий, седой, белый халат мятый, под глазами тёмные круги. В уголке рта зажата незажжённая сигарета.

— Доктор Моралес?

Он поднимает глаза. Смотрит на меня секунду-другую, потом вынимает сигарету.

— А, вы, должно быть, та самая Блэйн. Прислали спасать наши грешные души?

— Прислали разобраться, — говорю я. — Найти проблемы и решить их.

Он хмыкает.

— Проблемы искать не придётся. Они под ногами. В прямом смысле. Вы заметили лифт?

— Заметила.

— И что записали в свой блокнот? — Я не отвечаю. Он продолжает. — Ладно, пойдёмте, покажу вам госпиталь. Это хорошее место. Лучше, чем вам могло показаться. Просто ему действительно нужна помощь. Ему и нам. — Его голос смягчается. Понимаю его — он устал.

Мы идём по отделению. Карлос показывает пальцем:

— Палата три. Там лежит женщина после операции на бедре. Оперировали четыре дня назад. Её перевели сюда из-за нехватки коек в реабилитации. А теперь она лежит здесь, потому что лифт не работает, и мы не можем поднять её на второй этаж, где стационар.

— А почему нельзя перевести на носилках?

— Потому что носилки заняты. Вчера в приёмном было три человека на одной каталке. Буквально. Один лежал, двое сидели.

Я останавливаюсь:

— Что здесь происходит, доктор Моралес?

Он смотрит на меня долго, устало:

— Происходит то, что мы уже два года работаем без половины штата, без нормального оборудования и без единого человека из администрации, который спустился бы сюда и спросил: «Что вам нужно?» Так что, Мия, вы — первая за долгое время. Поэтому, пожалуйста, не задавайте вопросы и не пишите отчёты. Просто посмотрите.

Он резко разворачивается и идёт дальше. Я догоняю его.

— Расскажите мне про кадры, — говорю я.

Он останавливается у окна, скрещивает руки на груди.

— У нас четыре травматолога, включая меня. Нужно восемь. Один уволился, одна в декрете, ещё один дорабатывает последнюю неделю. Всё. Дальше — медсёстры. Их тринадцать на всё отделение. Работают по двенадцать часов, иногда по двадцать. Одна из них, Марта, которую вы видели, — единственная, кто умеет работать с диализом. Если она заболеет, мы будем вынуждены остановить его.

— А закупки? Оборудование?

— Оборудование, — он смеётся коротко, почти сердито. — Вы видели наш томограф? Четырнадцать лет. Вчера завис на сорок минут. Мы не могли понять, есть ли у пациента кровотечение. Пришлось перевезти его в общую операционную и сделать рентген, как в полевом госпитале.

— Я видела сломанный лифт, — говорю я. — Это ведь не единственная проблема с инфраструктурой?

— В операционной номер два протекает потолок. Мы поставили ведро, — он смотрит на меня. — Вы всё ещё не хотите отчётов?

— Мне нужен список, — отвечаю я спокойно. — Полный. И хочу, чтобы вы не скрывали ничего. Чем больше я знаю, тем быстрее смогу что-то сделать.

Он смотрит на меня с интересом:

— Вы всегда так спокойны?

— Нет, но я умею слушать.

Мы продолжаем обход. Он показывает мне приёмный покой. Люди сидят на скамейках, на полу, на подоконниках. Возле стены — молодая женщина с ребёнком на руках. У мальчика забинтована нога, повязка съехала. Медсестра проходит мимо, не останавливаясь.

— Почему мальчика не перевязывают? — спрашиваю я.

— Потому что его ведёт Ривера, а он в операционной. Медсёстры заняты. Я занят. И так каждый день.

Я подхожу к женщине:

— Здравствуйте. Я Мия Блэйн, новый руководитель госпиталя. Можно я посмотрю ногу вашего сына?

Женщина смотрит на меня с недоверием:

— Вы врач?

— Я администратор. Но я хочу понять, как помочь быстрее.

Она колеблется, потом кивает. Я осторожно отодвигаю повязку. Рана чистая, но бинт пропитался. Ребёнок вздрагивает.

— Больно, милый? — спрашиваю я.

— Немного.

— Потерпи, сейчас приведу кого-нибудь.

Я отхожу к посту, зову медсестру:

— Как вас зовут?

— Марта.

— Марта, найдите свободные руки. Ребёнку нужно заменить повязку. Сейчас.

Она смотрит на меня, потом на Карлоса. Карлос кивает:

— Делайте сами, Блэйн. Марта нарасхват.

Возвращаюсь к мальчугану.

— Меня зовут Мия. Можно я помогу тебе?

Мама растерянно кивает. Мальчишка выпрямляет ногу.

— Меня Роберто. Ты бледная. Тоже болеешь? — вид угрюмый, но заинтересованный.

— Я не успела загореть, детка. Ты очень наблюдательный.

— Если ты не врач, откуда знаешь, как делать перевязки?

Я на секунду теряюсь.

— Однажды мой близкий друг подрался, — начинаю почти робко. — Разбил кулаки. И мне пришлось перевязывать его. Он быстро поправится. Всё будет хорошо. Ты умеешь драться?

— Обожаю! Только мама очень ругается и не разрешает, — голос становится бодрее, глаза загораются.

— Вот и я очень ругалась. Но потом мы помирились.

— А у него остался шрам?

— Нет, — я заканчиваю перевязку машинально, пытаясь не позволить мыслям взять надо мной верх. — Его руки полностью зажили.

— Жаль, — с досадой выдыхает он. — Я бы хотел шрам. Большой! Чтобы все знали, какой я важный.

— Важность — в поступках и нужных, вовремя сказанных словах. Вот, смотри — всё готово. Ты герой. Даже не подал виду, что было больно.

— Вы хорошая. И красивая. Вы не можете сделать больно.

На секунды трещины в плитке смешиваются перед глазами в паутину. Я пытаюсь собраться, продолжить обход, но проваливаюсь мыслями в только что состоявшийся разговор. И в них — обрывки того дня, его крик, мой страх. Именно в тот день я первый раз сказала, что получила приглашение отсюда.

— Мия, — голос Карлоса раздается из дальней части коридора. — Вы готовы продолжить? У меня прием через тридцать минут, нужно успеть. Вы, кстати, действительно не умеете лечить?

— Нет, — я пытаюсь собраться. — Я не умею лечить, но я могу организовывать. Чтобы медсёстры не бегали за бинтами, а вы не работали по двадцать часов. Для этого нужно изменить систему. Вы готовы мне помогать?

Карлос молчит. Потом достаёт из кармана смятый лист бумаги, протягивает мне:

— Это список первоочередного. Я написал его месяц назад. Никому не отдал, потому что некому было.

Я разворачиваю лист. Там пятнадцать пунктов, от сломанного лифта до отсутствия катетеров.

— Спасибо, — говорю я. — Пойдёмте в ваш кабинет, пройдёмся по каждому.

— Сейчас? Я же сказал, у меня приём.

— Сейчас. Приём подождёт. Но сегодня — последний раз.

Он смотрит на меня долго, потом кивает:

— Пойдёмте.

Мы заходим в его кабинет. Тесный, без окон. На столе — стопки бумаг, пустые стаканчики из-под кофе, сломанный тонометр. Он садится, я остаюсь стоять.

— Итак, доктор Моралес, — начинаю я. — Лифт. Что с ним?

— Сломался в понедельник. Вызвали техников, они сказали, что нужна плата из Мадрида. Заказали через местную фирму. Обещают привезти к концу недели.

— Кто ведёт заявку?

— Из администрации — Лусия. Она и ведёт.

— Я поговорю с ней. Узнаю, можно ли заказать из другой фирмы, быстрее.

— У нас контракт только с одной.

— Контракт можно расторгнуть при невыполнении сроков. Или найти альтернативу.

Он усмехается:

— Вы действительно очень хваткая.

— Профессиональная. Это разные вещи. Дальше. Кадры. Вы говорили, не хватает четырёх травматологов. Есть ли возможность нанять на временные контракты? Например, врачей с Кубы или Португалии?

— Теоретически да. Но зарплаты предлагают низкие. Никто не едет.

— Я пересмотрю тарифы. Если нужно, урежу что-то другое.

— Вы уверены? Обычно администрация экономит на людях, не на оборудовании.

— Я начну с людей. Дальше — томограф. Есть ли заявка на новый?

— Была. Её отклонили дважды. Сказали, что нет бюджета. Потом перенаправили деньги на ремонт крыши после шторма.

— Хорошо. Я подниму документы. Если есть возможность, закажем в лизинг.

— В лизинг? Здесь так никто не делает.

— Значит, пора начать.

Мы сидим в его кабинете ещё час. Я задаю вопросы, он отвечает. Пишет неровным почерком список того, что нужно в первую очередь: лифт, томограф, новые койки, запас катетеров, второй аппарат УЗИ. Я делаю пометки в телефоне, спрашиваю про финансирование, про сроки, про ответственных. Карлос постепенно перестаёт хмуриться.

В дверь стучат. Входит медсестра — та самая Марта:

— Простите, доктор Моралес, но там пациент в третьей палате. Ему хуже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.